

СОДЕРЖАНИЕ

Старый служака	5
Гайдамак	61
Крестьянский суд	117
Страшное испытание	178
Федосья	189
Губительница душ	196
Грешница	482
Урса и Станко	490
По тернистому пути	500

СТАРЫЙ СЛУЖАКА¹

Кому случалось плыть в легкой гондоле по безмятежному морю, среди играющей стихии, оставляя за собой обрисовывающийся вдаль в виде тени берег твердой земли и острова, смотреть с тревогою в сердце на расстилающееся над ним небо — это второе море с волнообразными облаками, — тому знакомо отчасти то чувство, которое я испытал, несясь в легких санях по равнинам Галиции, представляющимся зимой в виде снежного океана. Они одинаково влекут к себе — и океан, и равнина, — наполняя нашу душу чувством грусти и неопределенными стремлениями. Только бег в санях быстрее, он напоминает собою полет орла — тогда как лодка в воде переваливается словно утка в воздухе, — а цвет бесконечной равнины и ее мелодии более строгого, мрачного и угрожающего характера; природа является тут во всей своей наготе, а борьба за существование и смерть подходят к вам ближе; вы чувствуете это по окружающей вас атмосфере, по тем звукам, которые вам слышатся.

Меня выманил из комнаты светлый зимний день, или, лучше сказать, вечер. Мне захотелось покататься;

¹ Эта повесть издана автором под заглавием: «Der Capitulant», т. е. солдат, выслуживший двойной или тройной срок службы, от слова «Capitulation», употребляющегося в Австрии с совершенно особенным значением — военных сроков.

моя лошадь заболела — не всякая лошадь может выдерживать безнаказанно езду по снегу; я позвал Мауше Леб Каттуна, старшего господского кучера, и велел ему заложить в мои сани его лошадей, на которых можно было вполне положиться. Погода стояла великолепная, в воздухе было тихо, легкие испарения земли не колебали золотых солнечных волн. Воздух и свет соединились в одну стихию. И в деревне царила тишина, не слышно было ни одного звука, по которому можно бы было догадаться, что в крытых соломою хижинах есть жители; одни только воробьи стайками летали по заборам и чирикали.

Поодаль стояли маленькие сани с хромою клячей, не больше жеребенка, на которой крестьянин вез из лесу дрова, а еще далее его полувзрослая дочка кричала ему что-то, пробираясь босыми ногами через высокие сугробы снега за маленьким поленом, которое он обронил.

Когда мы, звеня колокольчиками, взлетели на обнаженную гору, перед нами открылась необозримая равнина. Ее горностаевый зимний наряд придавал ей необыкновенное величие. Он одевал ее всю; только голые стволы невысоких ив да видневшиеся вдаль длиннорукые степные колодцы вместе с двумя как будто бы затерянными, закоптелыми хижинами, чернелись на ее снежной шубе.

Мауше Леб Каттун вздрогнул и вскрикнул. Первый взгляд на равнину произвел на него действие быстрого яда; его палестинская фантазия начала выражаться библейскими фразами, в одно мгновение она перенесла его из страны пушных зверей в страну пальм и кедров; он бросился на козлы как в лихорадке; он отрывал в своем мозгу тысячи образов для выражения того, что его мучило; он сыпал сравнения дюжинами, пока наконец я не велел ему замолчать. Тут он стал что-то бормотать. Не знаю, продолжал ли он разговаривать с самим собою, или молился, или наконец нашел желанное сравнение

и углубился в ту бесконечную белую бумагу, на которой он записывает свои бесконечные счета — и все считает, все считает.

Мы летели по твердой, гладкой дороге.

Насупротив нас лежала господская усадьба, а за нею маленькая деревенька; все было посеребрено снегом; снег покрывал серебром жалкие свесившиеся кровли, выводил на стеклах маленьких окон серебристые узоры; каждый желоб, каждый колодец, каждое хилое деревцо были обвешаны серебряными кистями. Высокие валы снега окружали каждое жилище. Люди прорыли себе тут дорожки, словно барсуки или лисицы. Легкий дым, поднимавшийся из труб, как будто бы замерзал в воздухе. Большие серебристые тополи окружали господскую усадьбу. Там и сям поднимались вверх пылинки инея, словно рои маленьких бриллиантовых мушек, и, сверкая тысячью маленьких молний, точно миниатюрная буря, носились по воздуху.

В конце деревни полунагие крестьянские ребятишки с белыми головами и красными щеками возились в снегу. Они слепили из него болвана, которому воткнули в широкий рот длинную дудку, вроде того как дворяне курят трубку. Тут же на салазках сидел молодой крестьянин, а две хорошенькие крестьянки с длинными темными косами и полной грудью, поднимавшеюся под белую рубашкою, тянули его вперед напролом. Как они смеялись, уж как смеялись!.. И он хохотал как сумасшедший.

Мы неслись мимо леса.

Куда девалась его мелодия? Хриплым голосом тявкает лисица и кричит галка. Пестро-красные листья все одинаково покрыты снегом. Лес и небо облиты розовым влажным паром. Перед нами теперь только засыпанные снегом холмы словно волны белого моря. Там, где белое небо глядится в него, оно блестит так ярко, что на него

способен глядеть только тот, кто может смотреть на солнце. За нами деревня и алеющий лес, которые все более и более тонут в отдалении. Вот мелькнули последние вершины обнаженных гор, но и они потонули, как холмы и отдельные деревья. Перед нами только снег, за нами снег, над нами белое словно снег небо.

Мы движемся как во сне. Лошади плывут в снегу, сани неслышно скользят за ними. В стороне от нас пробежала по снежному полю маленькая серая мышка. Далеко и широко кругом не видать ни одной трубы, ни одного пня, ни одной кротовины, а она бежала с такой осторожностью, с таким усердием. Куда? Теперь она превратилась в маленькую черную точку, а там и эта точка исчезла, и мы опять остались одни. Мы как будто бы не двигались вперед. Ничто не изменялось ни перед нами, ни за нами, даже и небо. Безоблачное, одноцветное, словно вымазанное известкой, оно было неподвижно и даже не мерцало, оно как будто бы оцепенело. Только в воздухе все более вечерело, он становился резче, он резал, как стекло.

Мауше Леб Каттун недавно остригся; он схватил горсть снега и принялся тереть им себе ухо, которое закрыл потом наушником своей шапки. Кончилось тем, что наши сани остановились, подобно судну в море, которое в тихую погоду хотя и качается, но все-таки не трогается с места. Нам казалось, что мы только едем, но не двигаемся ни вперед ни назад — вроде того как, по нашему мнению, мы живем. Но живем ли мы? Разве *быть* не называется у нас *жить*?.. А в отношении того, кто перестал быть — разве не все равно как будто бы его никогда и не было?

Вот летит ворон с широкими черными крыльями, с раскрытым клювом. Он опускается на покрытый снегом холм. Уж не занесенный ли это снегом стог сена, где он чует мышей? Он не то летает, не то скачет вокруг него,

он как будто бы хромает на лету, осматривает его со всех сторон, поднимается наверх и начинает клевать. Нет, это не сено, а пададь. А вот идет и волк с косматым затылком; он поднимает рыло и, втянув в себя воздух, рысью подходит к падали. Приблизившись к ней, он начинает ее обнюхивать, взглядывает на ворона, визжит и машет хвостом, как собака, которая нашла опять своего господина. Ворон стоит наверху, хрипло вскрикивая, махая крыльями и, по-видимому, совершенно счастливый. «Сюда, братец, тут хватит на нас обоих!» Как им весело, этим плутам!

Чем ниже опускается солнце, тем более оно представляется нам в виде блестящего, паробразного шара. Оно не заходит, а опускается в снег. Оно разливается, как растопленное золото; золотые волны доходят до нас; чудные, радужные тени пробегают по осыпанному серебром снегу. Вот оно погасает. Тысячи брошенных им огней сливаются, бледнеют. В воздухе еще носятся легкие, розовые пары, но и они расходятся; все становится бесцветно, холодно и неподвижно.

Не прошло нескольких минут, как нам навстречу поднялся холодный восточный ветер.

Вдали плыли сани; легкие волны воздуха доносили до нас жалобный звук их колокольчика, но потом и этот звук замер, поглощенный туманом, который все более и более увеличивался. Скоро стало совсем темно; беловато-серые облака неопределенных очертаний обволокли все небо — какой страшный флот, парус на парусе! Ветер дует прямо в них, они надуваются, флот плывет — и он подходит к нам, да и мы выезжаем. Вечерние пары вспыхивают и разрешаются легкими тенями.

Еврей останавливает лошадей.

— Собирается буря, — говорит он с озабоченным лицом, — нас может занести снегом; отсюда ближе до Тулавы, чем до дому. Куда прикажете ехать?

— Разумеется, в Тулаву.

Он два раза щелкнул кнутом над головами своих лошадей.

Мы полетели дальше. Разорванные волны тумана шумели вокруг нас, словно птицы с большими усталыми крыльями. Вот каменный столб с изображением святого. Направо отсюда — дорога в Тулаву.

Уже ветер бьет нас по затылку обоими кулаками; он завывает ужасными, жалобными, безумными голосами; он бросается в снег, взрывает его, разбивает большие облака, бросает их наземь в виде пушистых охлопков и грозит засыпать нас ими. Лошади опускают вниз головы и тяжело дышат. Буря вздымает белые вихри, поднимающиеся до неба, выметает равнину, белым веником, собирает громадные кучи сора, под которыми погребает людей и зверей, целые деревни.

Воздух палит, как будто он накален. Он стал тверд; буря рвет его в куски, которые врываются в легкие вместе со дыханием и режут, как осколки стекла.

Лошади медленно и с трудом подвигаются вперед; им приходится бороться со снегом, воздухом и ветром.

Снег стал теперь стихией, которую мы переплываем с величайшими усилиями, которую мы вдыхаем, которая грозит нас сжечь. Среди самого страшного движения природа представляется оцепенелою и ледяною, а мы — частями всеобщего оцепенения и холода. При виде всего этого становится понятно, каким образом лед служит могилою допотопного мира, каким образом можно перестать жить, не умирая, не истлевая. Огромные слоны, колоссальные мамонты лежат под ним, не подвергаясь порче, словно в амбаре, пока трудолюбивые ученые не сварят себе из них супа. Вам приходят на ум допотопные обеды — и вы начинаете смеяться. Вас вообще разбирает смех. Ведь щекотка возбуждает в нас смех, а холод щекочет страшно, не переставая, безжа-

лостно. Когда у мнимоумерших щекочут в носу, они начинают чихать и затем оживают. Все замерзает. Мысли виснут в мозгу в виде ледяных сосулек, душа облекается ледяным покровом, кровь падает в виде ртути. Нравственные правила являются чем-то вроде застывшего в наших волосах тумана. Все идет у нас наыворот. Как сердимся мы, когда гвоздь нейдет у нас в стену! Мы одним ударом сбиваем у него металлическую головку; мы бросим в угол узкий сапог, осыпая его самыми бранными словами. Тут же, когда нам приходится отстаивать свое существование, мы боремся терпеливо, безгласно, безропотно, чуть не равнодушно. Жизнь, которую мы так любим, оцепенела; а мы в этой борьбе стихий то же что один лишний камешек, кусочек льда, оцепенелый воздушный пузырь.

Мы шупаем свой собственный пульс как чужой. Белая завеса отделяет нас от наших лошадей; мы движемся в санях, как в лодке без весла, без паруса, — да они почти и не движутся.

Буря воеет с прежним однообразием; воздух палит, снег кружится вихрем; пространство и время исчезают. Подвигаемся мы вперед или стоим? Ночь это или день?

Медленно тянутся облака к западу. Тяжело дышат лошади; вот они вынырнули с покрытыми снегом спинами — снег падает большими хлопьями, земля покрыта им на локоть от поверхности, но мы опять можем отличать окружающие нас предметы и двигаться. Буря еще не утихла, она с визгом бросается в снег; земля покрыта туманом, словно щебнем. Где мы?

Кругом все занесено: ни дороги, ни столба, ни деревянного креста, который указывал бы на нее; лошади вязнут в снегу, он доходит им до груди; отдельные затерянные звуки грозы слышатся вдали. Мы останавливаемся, опять пускаемся в путь, еврей счищает кнутовищем снег со спины лошадей. Два ворона летят мимо молча,

едва шевеля черными колями. Они исчезли за завесой падающего снега.

Лошади отряхаются и идут быстрее. Падающие хлопья снега стали легче, воздушнее. Но вдаль все еще ничего нельзя видеть. Опять мы останавливаемся, советуемся.

Наступает ночь, мрак увеличивается. Еврей погоняет кнутом лошадей; отбиваемый их ногами такт становится быстрее. Что это за красная полоска там на горизонте? Едем туда! Теперь нам начинает казаться, как будто бы красный месяц упал на землю, лежит в снегу и гаснет; что это вспыхнуло и осветило темные тени?

— Это крестьянский караул у березового леска, — сказал еврей, — а за этим леском — Тулава.

Когда мы подъехали ближе, маленький березовый лесок стоял перед нами в виде темной стены, освещаемой местами сильно пылавшим огнем, который крестьянская стража старательно поддерживала. Огонь был расположен перед лесом в виде полукруга, так что ветер, ударявший там и сям в маленькие березки, гнал пламя наружу. Дым медленно тянулся к лесу и мало-помалу исчезал за деревьями.

Вокруг огня стоял теплый, сияющий пар. Расположившиеся там караульные вдруг встали, как тени. Еврей сделал им знак.

Они в одну минуту исчезли, исключая одного, который подошел к нам.

— Это Балабан, — сказал Леб Каттун. — Вы знаете его? Это старый служака.

Это был отставной солдат, полевой сторож Тулавской волости, чрезвычайно добросовестный человек, пользовавшийся особенным уважением в околотке. Я не раз о нем слышал, но мне до сих пор не представлялось случая познакомиться с ним, поэтому я и стал рассматривать его с особенным интересом. Его высокий рост

и осанка, его голова, его свободные и вместе с тем умелые движения поразили меня каким-то выражением твердости. Он поклонился вежливо, но без унижения.

— Не потерпели ли вы от грозы? — спросил он и взглянул на лошадей. — Я надеюсь, что кучер исполнил как следует свою обязанность.

Никакой дворянин не мог бы принять нас с большим достоинством и грацией. Он пригласил меня движением руки к огню.

— Лошади устали, они все в мыле, — сказал он, — да и темно; вам бы надо отдохнуть.

— Да мы затем и пришли сюда, — сказал я, потому что расположившееся у огня общество и старый служака заинтересовали меня. В это время к нему подбежал мальчик.

Служака ласково погладил его рукою по белой головке. Он казался совсем другим. Я понял, что это такой человек, которого сразу не узнаешь.

Караульные поднялись.

— Что вы тут делаете? — спросил я.

Все взглянули на старого служака.

— Соседние помещики, — сказал он с важностью, — да и другие поляки едут сегодня в Тулаву. Разумеется, они посылали туда и гонцов, и письма; они ведь там условливаются. Иные едут без паспорта. Наша обязанность — смотреть за этим. Может быть, что-нибудь и откроется. Вот в чем дело-то.

— Да, мы стоим на карауле! — сказал мальчик.

— В такую бурю! — вскричал я.

— Это наша обязанность, — отвечал старый служака, — мы не пропустим их и в метель, если будем тут.

Он, стало быть, совершенно не понимал, что борьба стихий и опасность могли удержать его от исполнения того, что он называл своим долгом; это бросалось в глаза.

Он взял лошадей за гривы и подвез к огню сани, снял с них покрышку и разостлал ее для меня.

— Земля суха, — успокаивал он. — Мы тут с самого раннего утра и развели такой огонь, что на нем можно изжарить целого быка.

На несколько шагов кругом лежала зола, которая была еще тепла. Пламя вспыхивало вверх или рвалось в сторону. Снежные хлопья летали как бабочки и, опустив крылья, падали в огонь.

— И Завальские тоже едут, — заметил мальчик.

— Разумеется, все хорошенькие женщины не прочь от участия в революции.

— И она, барыня, тоже едет? — спросил еврей, барабана по плечу старого служаки.

— Я почем знаю?! — отвечал он, делая головою движение, как лошадь, которая хочет вспугнуть докучливую муху. В глазах его блеснуло что-то скрытое, необыкновенное, в то время как лицо его сохраняло то же самое выражение, что и прежде; но минуту спустя он уже пристально смотрел на дым, тянувшийся к березам.

Было совершенно тихо, только ветер слегка раздувал огонь.

Я лег и стал рассматривать своих соседей.

Я знал крестьянина, который стоял с косой на карауле в углу леса и от времени до времени подходил к огню больше для того, чтоб послушать, что там говорилось, чем погреться. Его звали Мраком; у него было одно из тех решительных, серьезных лиц, какие обыкновенно бывают у наших крестьян.

Другой, сидевший у огня подле меня, был неизвестен. Это был угрюмый малый в мохнатом сераке¹ мышиного цвета, на голове у него была маленькая шапка —

¹ С е р а к — длинный крестьянский сюртук из грубого, мохнатого сукна с капюшоном.

из серых мерлушек; голова была у него чрезвычайно оригинальной формы — вверху узкая, внизу широкая, точь-в-точь парашют. Когда я взглянул на него сбоку, мне так и казалось, что он вырезан из старого картона. Нос у него был необыкновенно длинный, острый и тонкий; рот как будто бы провалился; а подбородок уходил в шею. Вообще в чертах его лица было что-то неловкое, а сам он — точно развинченный. Все эти недостатки отражались на его силуэте, который обрисовывался на снегу в таких преувеличенных размерах, что на него нельзя было смотреть без смеха.

Подле него лежал ничком маленький человечек, которого называли Юр Фетер Монгол. Недалеко от этих мест находится поле сражения, на котором больше чем за две-сти лет до этого орда татар потерпела страшное поражение. Опустошенные деревни населили пленными. Мне можно бы было биться об заклад, что наш Монгол происходит от которого-нибудь из них. Он вдвое меньше ростом, чем картонный человек, но маленький горшок всегда крепок. Стоило только взглянуть на его голый затылок, чтобы убедиться в его силе. Он лежал в полотняных панталонах и полотняном зипуне; его открытая грудь покоилась на горячей золе, а ноги в снегу. И ты тоже, брат Монгол, куда неказист! Как не клеятся у тебя эти широкие бедра и мощная грудь, а твое лицо — что у тебя за лицо! Что у тебя за жалкие маленькие дырочки для твоих живых, черных глаз и что за ужасные складки вокруг рта! При этом и глаза-то у тебя прорезаны как-то вкось, а приплюснутый наверху нос — с такими большими ноздрями, что одной из них было бы достаточно для помещения обоих твоих глаз. Зато ты желт, желт, как зависть, и надвигаешь на редкие, жесткие, как проволока, черные волосы свою суконную шапку вплоть до самых ушей.

Главным действующим лицом был, очевидно, старый служака Фринко Балабан.

Каких он был лет? Трудно было определить, но это был человек в истинном значении этого слова.

Человек, которого нельзя бы не заметить — как в шеренге, так и в общине, точно так же здесь у сторожевого огня крестьян. Коричневый, полинялый сюртук, подпоясанный черным кожаным поясом, выказывал стройность его стана и казался очень наряден. Он застегнул его доверху; на шее у него был его единственный полинялый старый галстук, а изношенные синие солдатские панталоны были надеты по-городски, сверх сапог. За поясом у него висели табачный кисет из свиного пузыря (из которого он набивал маленькую трубочку) и длинный нож. Другие были вооружены косами и цепями, а у него на коленях лежало ружье. На груди у него были две медали за службу и ленточка. Круглая высокая баранья шапка придавала его изящной голове достоинство раввина и диаконства; вместе с коротко остриженными темными волосами она обрамила замечательное лицо — лицо с кроткими чертами, с правильным носом, прекрасно обрисованным ртом, покрытое тем прекрасным бронзовым цветом, следствием полевой службы, который вместе с двумя скорбными линиями рта и спадающими вниз усами налагает на наших солдат совершенно особенную печать. Но его честные глаза так ввалились под его густыми бровями, они были так влажны, словно наполненные слезами, смотрели так спокойно, так грустно, что больно было глядеть на них. Точно такое же впечатление производил и его голос. Такой твердый человек, такой солдат, а между тем все, что касается его внутреннего существа, звучит как разбитое: и звуки его голоса, и самая его речь, в которой слышится что-то однообразное, торжественное. Так могли говорить на кострах и на горячем песке арены христианские мученики.

А еще у этих крестьян была собака — обыкновенная крестьянская собака неопределенного цвета, с длинны-

ми темными волосами вокруг шеи и с прекрасной лисьей головой. Она спала, положив острую морду на передние лапы, на горячей золе, и тихо шевелила хвостом, когда грустный голос старого служаки достигал ее ушей.

Все караульные говорили тихо, важно; только один еврей болтал.

— А у меня есть для тебя жена, — поддразнивал он отставного солдата, — хорошенькая девушка — я ведь знаю, что ты стоишь за это. Право, хорошенькая и притом зажиточная, что тоже очень недурно. Что ты на это скажешь? Да она уж и спрашивала о тебе.

Он обвел глазами всех сидевших в кружке, но никто не обратил на него внимания. Леб Каттуну, по-видимому, только теперь припала охота поболтать. Он погладил Балабана по спине и вскричал:

— Господи боже мой, да ведь ты не хочешь жениться! — При этом он сощурил глаза и лукаво взглянул на крестьян. — Он поклялся — такой уж это человек, — он поклялся, что никогда не женится!

Старый служака так взглянул на него через плечо, что еврей, закашлявшись, пошел к саням и сел на козлы, обернувшись спиною к крестьянам. Здесь он поболтал несколько минут ногами, посчитал... помолился и наконец заснул. Произведенный им шум разбудил собаку.

— Смирно, Поляк! — закричал мальчик.

Лисья голова взглянула на старого служаку, но, не получив от него ответа, встала и, вытягивая задние ноги, приблизилась ко мне, обнюхала меня, подошла к саням, обнюхала лошадей. Они опустили к ней головы, она подняла к ним морду, слизала у них с рыла замерзлый пар, помахала хвостом, повизжала, ласкаясь к ним. Тут она подняла нос, сделала несколько шагов и подошла прямо к еврею, обнюхала его, обошла вокруг и подняла ногу — потом пошла против ветра, чихнула и возвратилась тихими шагами к огню, где и сунула свой нос в теплую золу.

— Там бежит какой-то человек! — вскричал крестьянин, стоявший на карауле в углу леса, и показал на видневшегося вдали человека. Мы все взглянули туда, только один старый служака спокойно остался на своем месте,

— Что это? — спросил он, поворачивая голову и улыбаясь. — Разве ты его не знаешь?

— Ах, да это Коланко, — сказал жалобным тоном картонный человек. При этом он почесал у себя за ухом и очень кисло взглянул на нас.

— Этого нам еще недоставало! — вскричал мальчик Юр, важно складывая на груди руки.

Старый служака сделал презрительное движение и обратился ко мне.

— Надобно вам знать, сударь, — сказал он важно, — что это за старик. Ему больше ста лет, странный человек, умный и опытный, только немного болтлив, а теперь стал точно дитя — смеется без причины, да и плачет также без причины. Известное дело, старик — все равно что ребенок, а этому-то больше ста лет.

Но тут он сам подошел к нам и избавил таким образом старого служаку от объяснений; это был маленький человечек с трясущимися ногами и руками, со впалой грудью, желтой сухой шеей, старым желтым личиком, на котором не было ничего живого, кроме маленьких черных глаз, которые лежали в глубоких впадинах, но от которых тем не менее ничто не укрывалось.

На нем были еще совсем новые сапоги, теплые панталоны, длинный засаленный овечий тулуп, шапка из трехцветного кошачьего меха; он держал в руках пуховую подушку, покрытую какой-то материей с красными полосками, и так скоро говорил своим беззубым ртом, что его не всегда можно было понять.

— А что, व्यюны, व्यюны, поймал я вас! — вскричал он, лукаво смеясь, и стал жаловаться на что-то, чего я не понял, а потом начал хвалить старого служаку.